BUILDING WILL

АЛЕКСЬИ РЕМИЗОВЪ

KOPABKA

ИЗДАТЕЛЬСТВО Е.А. ГУТНОВА ВЪ БЕРЛИНГВ

БИБЛІОТЕКА СПОЛОХИ

АЛЕКСБЙ РЕМИЗОВЪ

КОРЯВКА повъсть

БЕРЛИНЪ 1922

ИЗДАТЕЛЬСТВО Е. А. ГУТНОВА ВЪ БЕРЛИНѢ

АЛЕКСВЙ РЕМИЗОВЪ КОРЯВКА ПОВВСТЬ



ansocano podanemi Elettago en leure 2016 de 2000 60-Kak 170 201 u Ent (a & Smet) 94 Kak 170 24 En - mai 80111-Bom a ce Eem - am Eda co ecca par agoro, gou estau. Af J. BCE go mBEpg syffen Emgelogge Sakup - om nampond-Blobertou uperrocuru a gosse Blion jables. an molke como Mapo-munia d'asifasso 16, como d Ha wollbeffu c'molo, nu c cero rapura windusch? d Borremepsyfre u B causius HEyfs trous lac - 17839-Hum BEZEROW Gasut flotono Kak 1709 Guerren Berren, gd hart en Jegem megm w

on many or ry annufro Berrhoby for Buuland 196 gréfie 80 3 Brangafuch ubi & 17ab où Erufée Butén MET orésenn gonou c'odd'easten (nuchun om unaga ober 6 aug 6 aug Herrage unfanja un aufosata u aced. Maber Enucceout 2000 pus Fro-17 Epangeren. u Bong na oppanglycensüffar Epenyjou, Nach ceur Eal Bushed, Territ & Caffobut north suff Trooter PaEnrea 100 d'Esserra mes pour l'oppeus du coscéel Hatesil: & cuokunge u des unsaine Huceto HE coodfaguraro: 170 Eug, Nash u narrot Nou Boicom & orral noue offmug rempe bafforet confount Baro Maska equicee Build 11aBEL ExuceeBut 90Betum 150-17Eple Jahre

Wegfy a genfen: Brakeymusinsence Benneson Borocke Memp baylosus wortant, van man Ga Korning, Bouvant En de Lupans a crement choo's combonne a Mapsaggable compagabcorrection Tout Thirtpde Bassoburds: - Ma -a-981/a BCE 3000 mostrers/109108 Epquent u can marge Equee-Hole eun Ama Bom Hak transmiffe.

B my cauge uichermy. Karl ogun uz Bermpob. coplab Merripa bayobula c Koknuga, 1118 suprula ey 8 kygd Benne grem porrae Josepha Journa 12, 914-2006 Barrep etil arrupea garjagja gjuccee Butalo, Afoll E ocupes - Eng & For. - passufr a de by Mopendolf w, paedpacabal parlongulu, monters Berten ga de Emabrillan 17 Empour bayloba (En

BCE (109 poduocita o 170 ko utjour tempe ubanoba:

DE, Kart u 170 leur olymung 2014 fra markou Bu
const orgación u 170 lus equ 3a terro, use paconal as of byl elo espudentes 6 hopabula

fo vino elo 3 yaban, 7 mong korabita! - terro

est Ens, terro (100 gg)

171822 Savellubing)

CHAREM & UEWERPARIE CAMPONIAN DOCUMEN BEYARON MEDIENON LIGHAMON LANGUA LOVER CHARACTER CONTROL MEDIENON LIGHAMON LOVER BEYARON MEDIENON LIGHAMON LANGUA LOVER CHARACTER CONTROL MEDIEN CHARACTER CHA

EBLEHMON Fangpaguz Jumnos, que Komopajo e u muny Amy Jasumyuny, moder ukparume (hury - Kope Bluny mosernse, kasafep od e so ener yo grafe ne prosen com Enghu cal Bangon od Berneen Bernen u Boronou Maramer - 32 popoe khuron e rampul Bogs Egen Ha macky (922 noga 8 mapromomen-

Sypre B appenpame



S. Kaygearpacter

cancellarius anencoin Pencu 3083.

3 m Jaysacra actives

4. b.

— что самого удивительного в Петербурге, это вовсе не туманы и не ввезды, а ветер.

Туманы проходят, ввезды белеют, а ветер — —

Как подымется ветер, да как подует — так вот-вот и свеет — и тебя со всей рухлядью, дом, улицу, всё до твердынь петер-бургских — от Петропавловской крепости и до Невской лавры. В Москве есть царь-пушка. А слыхано ль, чтоб на Москве ни с того, ни с сего палили из пушек?

А в Петербурге и в самый неурочный час — поздним вечером, даже ночью.

Как подымется ветер, да как подует, тут из пушки и бахнут — Но ветер перекричит, переухает всякую пушку

и! — гу--уу--ля--ет!

В такую гулянную ветрову ночь в Михайлов день возвращались мы с Павлом Елисеевичем Щеголевым домой с обезьяных именин от князя обезьяньяго и уставщика обезьянского Михаила Михайловича Исаева.

Павел Елисеевич говорил по-персидски.

И вот на Французской набережной, как сейчас вижу, Петр Иванович Галувин пробирается по бельэтажному карнизу и совсем налегке: в смокинге и без шляпы.

Ничего не соображаю: почему, как и на такой высоте опасной очутился Петр Иванович?

Спрашиваю Павла Елисеевича.

Павел Елисеевич говорит по-персидски.

и! — гу--уу--ля--ет!

И вдруг увидел: в закрутившейся ветровой воронке Петр Иванович и опять, как там на карнизе, в смокинге и без шляпы. И слышу сквозь войвопль и каргаррявь ветра явственно голос Петра Ивановича:

— ка—а—ряв—ка — —

Все это может подтвердить и сам Павел Елисеевич.

Ночь ему эта вот как памятна:

в ту самую минуту, как один из ветров, сорвав Петра Ивановича с карниза, швырнул его куда выше Петропавловского шпиля, другой ветер уцепился за Павла Елисеевича, но не осилев — еще бы! — рванул из его рук портфель и, разбрасывая рукописи, понесся вслед за улетавшим Петром Ивановичем.

А портфель, если на глав прикинуть, не совру, пудов десять

так — богатство немалое!

Все подробности о покойном Петре Ивановиче, как и почему очутился он на такой высоте опасной и погиб ни за что, мне рассказал друг его приятель Корявка. Но кто его знает, этот Корявка! — что врёт, что правду.

17 V 1922. Charlottenburg.

Павел Елисеевич Щеголев, историк, один из архивных глав в России, старейший князь обезьяний обезьяньей великой и вольной палаты, живет в Петербурге, сторожит Россию. Евгений Александрович Гутнов, для которого я и пишу эту завитушку, чтобы украсить книгу — корявкину повесть, кавалер обезьяньяго знака первой степени с абзатдом обезьяньей великой и вольной палаты — за доброе книгопечатание возведен на Паску 1922 года в Шарлоттснбурге в Аффенрате.

б. канцелярист cancellatius Алексей Ремизов

обевьянья великая и вольная палата.

ПОСВЯЩАЮ С. П. РЕМИЗОВОЙ-ДОВГЕЛЛО



В СЯКОМУ человъку надо, чтобы кто-

Переберите вы всѣхъ вашихъ родныхъ и знакомыхъ, осмотрите ихъ жизнь повнимательнѣе — и ужъ непремѣнно замѣтите, что у каждаго кто-нибудь да найдется, такой пріятель, котораго онъ держится, а держится потому, что тотъ пріятель въ восхищеніи по пятамъ за нимъ ходитъ.

Воть почему.

И всякія другія объясненія — ложны.

И объяснять такую связанность человъческую перевоплощениемъ, какъ это вздумалъ одинъ върующій въ перевоплощеніе знатокъ, небезызвъстный Петръ Прокоповъ, значитъ — не больше, не меньше, какъ пальцемъ попасть въ небо.

Ну, посудите сами, ну, я, скажемъ, дружившій съ Корявкой, — Корявка отъ насъчерезъ домъ, я будто бы въ прошломъ воплощеніи былъ Баба-Яга, а мой Корявка для меня — лакомымъ чъмъ-то, въ ро-

дъ пътушка, и я его, пътушка, Корявку лакомую, съълъ и на косточкахъ его валялся, и вотъ будто бы по тому-то по самому Корявка за мною и ходитъ, а я его не только что не гоню, хотъ онъ мнъ и совсъмъ ни на что, напротивъ — я его еще и приваживаю.

Нътъ, связанность моя съ Корявой не потому, а какъ разъ по-моему, по этому — по причинъ страсти восхитительной.

Послѣдній актеръ, третьестепенный писатель, завалящій художникъ — вся эта осла бритвъ и соль земли, всякій развлекающій публику, и будь ты оборышь и подонокъ, а и для тебя въ той же самой публикъ кто-нибудъ да найдется, хоть одинь кто на тебя воть такъ посмотрить, какъ на меня когда-то смотрълъ Корявка. Да и всякій и не актеръ, и не писатель, и не художникъ, а человѣкъ, просто человъкъ живущій — не ломающійся, а глазьющій, не болтающій, а впитывающій болтовню и вздоръ и неръдко самъ сообразно поступающій, не мажущій мазью, а приглядывающійся къ ней, словомъ --огромное большинство, вовсе не мнящихъ себя ослой бритвъ и солью земли, — вашъ

покорный слуга, вашъ сосъдъ, первый встръчный, все равно кто, все равно, а не могъ бы и дня прожить или, пожалуй, и могъ бы, но какъ! — какъ тускло, какъ безрадостно! — не будь при немъ хоть кого - нибудь, кто бы изръдка, по большимъ праздникамъ что ли, по двунадесятымъ, а повосхищался имъ, не будь пріятеля, ну, хоть не такъ смотрящаго, какъ на меня Корявка, а почти . . . почти что такъ.

И Петръ Ивановичъ — вовсе никакой художникъ, Петръ Ивановичъ Галузинъ, мужъ кротокъ и молчаливъ, при всей своей замкнутости и тихихъ и нетихихъ секретныхъ привычкахъ, не буявъ и не величавъ, а имълъ-таки себъ поклонника, и такимъ восхищающимся пътушкомъ лакомымъ былъ подлецъ Корявка, промънявшій меня не за ломаный грошъ.

И Петръ Ивановичъ былъ вполнѣ до-воленъ.

А Павочка...

Павочка и представить себъ не могла, что бы такое было, если бы не восхищались ею! Стоило только на часъ какой оставить ее одну — и такая вдругъ нападала тоска на нее тоскущая, ей-Богу, будто ужъ въ міръ на сырой земль ей и мъста - то не оказывалось, и такой несчастной, такой покинутой становилась она, ей-Богу, смотръть жалко! И ужъ для нея, будь ты хоть Лихомъ-одноглазымъ, будь самимъ бъсомъ Зебеусомъ, да чъмъ угодно, а только повосхищайся—и будешь хорошъ.

И будетъ все хорошо.

Павочка такая...

Ну, какъ назвать? — она и не изъ крупныхъ, малюпуська, курносенькая, знамечко тутъ на шейкъ и пустой-препустой лобикъ, — дъвчонка.

Я лучшаго ей названія не могъ придумать: дъвчонка. Только замътьте, совствить это не въ какомъ-нибудь смысль— дъвчонка! Въ животномъ міръ среди кошекъ, милыхъ нашихъ мурокъ, попадаются ну такія кощенки, — вотъ подходящее, вы представляете?

И, гдъ хотите, ее можете встрътить и въ трамваяхъ, и на гуляньъ, и на лекціяхъ, и на вечерахъ, и въ театръ — она непремънно въ какомъ-нибудь такомъ платьицъ

необычайномъ, вся розовенькая, на каблучкахъ и такой препустой - пустой лобикъ, а вокругъ нея франты съ лошадиными лицами — зародится же, прости Господи, народъ такой, съ лошадиными! — а то старичокъ, старикашка тоже съменитъ . . . думаещь, что такъ, а окажется — му-ужъ, — вотъ и поди!

Да, гдв хотите, съ квиъ хотите, гдв угодно вы ее можете встрътить, она вамъ

въ глаза первая бросится.

— Экая, — скажете, — дъвчонка! —

и роть до ушей пойдеть.

Тоже и тамъ бывають, я встръчаль и не ночью, а среди бъла дня . . . на Суворовскомъ у насъ.

Какъ - то въ будній день иду и вижу, идеть, — зимой было, — ничего, все, какъ слѣдуеть, по-зимнему: ротонда на ней — коза ангорская такая пушистая бѣлая... да не идеть, это мы съ вами идемъ, а она — экая! — она знай себъ по морозцу-то приплясываеть.

— Экая шельма дъвчонка! — не удержался, сказалъ кто-то, и не очень тихо, а весело, за всъхъ.

- Злая она?

- Нътъ.
- Добрая?
- Ну, какъ когда.
- -- Какая же?
- А думаю я такъ и скажу вамъ словомъ Корявки, сколь разумъю отъ безумія моего и ума забвеннаго. Случись важное какое міровое открытіе, ну, нашли бы върное средство, предупреждающее нечаянности — несчастія съ людьми, тамъ гдь-нибудь на Пулковской обсерваторіи по звъздамъ вычислили бы, и все до точности, и само собой до точности дознались бы, при какихъ такихъ житейскихъ условіяхь средство это дійствовать будеть, нечаянности предупреждать, и, скажемъ, такъ, что по условіямъ этимъ потребуется пость всемірный — должны будуть люди въ извъстные сроки и одновременно налагать на себя пость, или еще что внъшнее потребуется, напримъръ, какой-нибудь танецъ глупвишій — просто ломаться и кривляться, какъ дъти, и опять же въ опредъленный часъ, и чтобы всѣ безъ исключенія, какъ одинъ, и сталобыть, какъ видите, все дъло, суть всъхъ условій сведется къ нѣкоторому непре-

мънному и неукоснительному исполненію какого-то тамъ обязательнаго для всъхъ постановленія. И думаю я, что, въ виду важности открытія, любой и самый крысиный изъ самаго крысьяго подполья лишиль бы себя удовольствія чаю попить съ баранками (баранки, конечно, бублики, съ макомъ; что съ макомъ, что безъ мака, цъна одна, макъ даромъ!) да и самый поперечный наложиль бы на себя пость всемірный, подчинился бы этому всеобщему обязательному для всъхъ постановленію во имя такого громаднаго или, какъ говорять нынче, золотя дутые всякіе пустяки, такого колоссальнаго всеобщаго блага (не забывайте, нечаянности несчастныя будуть устранены!), но вы не дождетесь и будьте увърены, что вотъ такая... дъвчонка такая это обязательное ваше постановленіе обязательно нарушить, и просто такъ и совсьмъ не со зла нарушить и совсьмъ не оть своей отдъленности веселой, не говорю ужь оть крысиности — никакой крысиной подпольности, ни личной поперечности въ ней и помину нътъ: она вся открытая, и въ этомъ смыслѣ чиста, какъ чисто разжженное серебро, нътъ, нарушитъ

19

такъ, просто такъ себъ. И ты ей хоть лобикъ ея пустой прошиби, что возьмещь? — толку не добьешься. Она только горько заплачетъ . . . Впрочемъ на такую и рука не подымется: въдь будь на ея мъстъ какой съ лошадинымъ лицомъ, въ такомъ родъ что-нибудь, тогда, можешь, вгорячахъ, въ злости, изъ ревности къ общему благу и за свою шкуру, да и отъ досады просто, и не удержишься, не совладаешь съ собой да по виску его и кокнешь, но Павочку — нъ-ътъ, я не могу, да и вы не можете, конечно!

Петръ Ивановичъ, такой молчаливый — мужъ смиренъ и кротокъ! — потупляющійся при встрѣчахъ, такъ что и глазъ-то его путно никто не видѣлъ, какіе они, а вотъ оказывается, лунатическіе, вотъ какіе!

Петръ Ивановичъ съ нѣкоторыхъ поръ, а вы, конечно, догадываетесь съ какихъ, эти загадочные лунатическіе свои глаза перестроилъ на восхищающіеся.

И въ то же самое время отъ Павочки только и слышно стало, что о Петръ Ивановичъ.

— Петръ Ивановичъ — Петръ Ивановичъ — Петръ Ивановичъ!

Петръ Ивановичъ исполнялъ все, чего только ни пожелаетъ Павочка: онъ доставалъ ей всякіе билеты на всевозможныя развлеченія, ну, куда только она хотъла, онъ дълалъ все, лишь бы угодить Павочкъ.

И это у всѣхъ на глазахъ и въ живой памяти. И началось безъ году недѣля. И началось при обстоятельствахъ весьма странныхъ.

У Ерыгиныхъ только и говорили, что о таинственныхъ шагахъ.

Изъ ночи въ ночь слышались шаги въ коридоръ:

кто-то съ большой осторожностью проходилъ по ковру въ коридорѣ отъ гардеропа къ окну и обратно.

Кто ходиль и зачьмь вь такой полуночный чась и жуткій? — терялись въ догадкахъ.

А въ сущности-то говоря, некому и незачъмъ ходить было.

И вотъ кто-то ходилъ, кому-то надобилось, и Богъ знаетъ, для чего въ такой жуткій полуночный часъ.

Слышаль шаги Миша, слышала Веточка, слышала сама Миропія Алексвевна.

— Воры?

— Какіе же воры! Все было цѣло-цѣлехонько, и хоть бы шпилька съ пола пропала. — Прислуга?

— И опять нѣть, — ну, зачѣмъ прислугѣ таскаться въ такой часъ и въ такомъ непоказанномъ мѣстѣ? — прислугѣ ночью не до гулянокъ! И притомъ всѣхъ спрашивали, и даже не одинъ разъ, и никто, конечно, не знаетъ, и не ходилъ, и не слыхалъ, — спятъ крѣпко.

— Можетъ, у васъ въ коридоръ такое мъсто? — пытались сочувствующіе деликатно разръшить ерыгинское недоумъніе и ужъ сразу покончить со всякой таниственностью.

— Ничего подобнаго! — даже обижалась Миропія Алексвевна.

Ее хоть и больше всъхъ безпокоили эти шаги, нарушавшіе долгольтній миръ ея ладной дачи, но такое черезчуръ житейское объясненіе въдь не оставляло ровно ничего отъ всей таинственности, какъникакъ, а событія знаменательнаго.

Петръ Ивановичъ, гостившій на дачѣ у Ерыгиныхъ, ничего не слышалъ, никакихъ таинственныхъ, ни нетаинственныхъ шаговъ, не слышала и Павочка, двоюродная сестра Ерыгиныхъ, тоже гостившая въ Павловскѣ. Но и Петръ Ивановичъ и Павочка такъ же мало были къ шагамъ причастны, какъ и сама Миропія Алексвевна.

- -- Кто же?
- Кто ходилъ ночью по коридору?
- Это ты, Миша? ръшилась-таки изъ послъдняго своего отчаянія бъдная Миропія Алексъевна спросить сына.

Можеть, Миша подтруниваеть надъ нею и надъ всъми?

Миша непремѣнно бы обидѣлся, будь съ его стороны и вправду хоть что-нибудь нечисто, но тутъ и по правдѣ все было начистоту: онъ и не думалъ ходить по ночамъ пугать домъ, онъ себѣ самъ ломалъ голову не меньше самой Миропіи Алексѣевны, и не меньше Миропіи Алексѣевны ему самому хотѣлось дознаться, разрѣшить наконецъ эту ничѣмъ необъяснимую таинственность.

А въдь быть того не можеть, чтобы не было виноватаго!

— Да позвольте, — нашлась Веточка, — Веточка за зиму начиталась всякикъ книжекъ о всякихъ таинственностяхъ, и отвътъ у нея былъ готовъ, — да все это

очень просто: это астральное тьло хо-

- Астральное?
- Конечно, астральное, а больше не-кому.

Веточка была права.

И всъ съ Веточкой согласились, и на нъкоторое время о шагахъ какъ будто и забылось.

Но это не такъ: чѣмъ ближе подходилъ вечеръ, а за вечеромъ бѣлая ночь, тѣмъ вспоминались шаги больше, и ужъ никакой и самый изъ всѣхъ самый правдоподобный отвѣтъ не могъ успокоить.

И пусть ходило астральное тъло, но чье?

Кому оно принадлежало? Кто ходилъ?

— Чьи же шаги? — спрашивала Миропія Алексвевна и отъ своего вопроса впадала въ еще большее безпокойство.

И какими невозвратно-счастливыми, какими невозможно - пріятными представлялись ей всѣ тѣ прошлые дни — начало Павловскаго лѣта, и она, избезпокоившись, ужъ рѣшалась просто сняться съ насиженнаго лѣтняго своєго гнѣздышка и поссеннему вернуться въ Петербургъ на свою зимнюю Французскую набережную, — она не могла больше слышать изъ ночи въ ночь повторяющухся, ничѣмъ необъяснимыхъ, полуночныхъ шаговъ.

А Миша свое думалъ.

"Воть подкараулю, — думаль Миша, — внезапно настигну, хвать — и поймаю съ поличнымъ!"

Съ тѣмъ Миша и ложился, съ этой хватальной мыслью, и когда подходилъ часъ астральныхъ шаговъ, эта хватальная ночная мысль не покидала его, но онъ не вставалъ, а съ замиравшимъ сердцемъ прислушивался, потомъ, овладѣвъ собой, закуривалъ папироску и курилъ, пока не затихало.

Услышалъ наконецъ шаги и Петръ Ивановичъ.

Услышала наконецъ шаги и Павочка.

Павочкъ было очень страшно, но любопытство въ ней загорълось сильнъе
страха.

А Петръ Иванвичъ сперва провърилъ: слышитъ онъ или такъ ему кажется?

И для этого, коть и бълая ночь, зажегъ свъчку. И оказалось, точно слышить: кто-то ходиль по коридору, — слышить, слухъ его не обманываль. Конечно, никакое астральное, а самое настоящее осязаемое тъло о двухъ человъческихъ ногахъ, и не мертвое.

Таинственныя явленія допускалъ Петръ Ивановичь исключительно и только въ крещенскіе вечера, а кромѣ того, держался того убѣжденія, что вообще мертвое тѣло ходить и говорить не можетъ.

*

Послѣ завтрака, когда Петръ Ивановичъ по обыкновенію вышелъ прогуляться въ паркъ, а Ерыгины остались одни, и само собой и Миропію Алексѣевну, и Мишу, и Веточку, и Павочку — всѣҳъ занималъ единственный теперь вопросъ о шагахъ.

[—] А я знаю, — сказала Павочка, — кто ходить!

Въ другое бы время никто на Павочку и не обратилъ вниманія, но туть ловили всякую разгадку, и всъ, какъ одинъ, отозвались:

- Ну, кто же?

— Да Петръ Ивановичъ! — улыбалась Павочка алымъ ротикомъ.

— Что за вздоръ! Петръ Ивановичь...

— Да въдь онъ же лунатикъ!

- Лунатикъ?

— Конечно, — улыбалась Павочка, —

и глаза у него лунатическіе.

А передъ объдомъ къ Миропіи Алексь-евнъ заходила экономка Оня, женщина хоть и подъ пятьдесять, а съ большой игрою.

И шепталась съ Миропіей Алексвевной не о пьющемъ поварв, а о проклятыхъ полуночныхъ шагахъ — ихъ ужъ всв нынче слышатъ, вся прислуга и даже самъ пьющій Семенъ-поваръ.

И думаеть она на барина, что чужой

это баринъ, никому другому.

— Очень они молчаливы, — шептала Оня, — и говорять тихо!

И за объдомъ всъ особенное обратили вниманіе на Петра Ивановича, на его глаза особенно.

И хотя глаза Петра Ивановича, если ужь по правдъ сказать, ничъмъ особеннымъ и не выдавались — ни выпуклостью своей, ни ръсницами — сомнънія ни у кого не было, что глаза лунатическіе.

А вмѣстѣ съ глазами поставлено ему быль на видъ и молчаливость его и его не-обыкновенно тихій голосъ.

Конечно, Петръ Ивановичъ — лунатикъ, и, конечно, это онъ ходитъ ночью, — тутъ и говорить нечего, и спору нътъ.

И ужъ какъ послъднее и самое въское доказательство, принято было во вниманіе и то обстоятельство, что въдь только одинъ Петръ Ивановичъ шаг въ не слышаль, когда весь домъ, всъ слышали, и даже пьющій Семенъ-поваръ, а потому не слышаль, ну, потому, что самъ и ходилъ.

И, надо сказать правду, туть Петръ Ивановичь самъ въ гръхъ ввелъ: и почему ни словомъ не обмолвиться хотя бы о своихъ ночныхъ провъркахъ? И

когда заходила рѣчь о догадкахъ, небось, сидѣлъ, словно воды въ ротъ набралъ!

А разъ такъ — пеняй на себя.

*

Съ этихъ поръ отношеніе къ Петру Ивановичу естественно измѣнилось.

При немъ держались какъ-то на вытя жку, неестественно, стали къ нему необыкновенно внимательны, а посматривали очень не безъ тревоги.

Лунатикъ вѣдь не только можетъ ходить по коридору въ непоказанные часы, лунатикъ можетъ и не по коридору, а и по всякимъ мѣстамъ прохаживаться опаснымъ, — по карнизамъ; но это еще съ полбѣды, главное же то, что лунатикъ можетъ такую штуку выкинуть самую неожиданную, какое угодно преступленіе и самое звѣрское совършить можетъ въ своемъ лунатическомъ видѣ, и совсѣмъ безнаказанно.

Что говорить, положеніе Ерыгиныхь, пригласившихь къ себъ на дачу погостить такого страннаго страшнаго гостя, было не изъ завидныхъ.

- А развѣ раньше-то за Петромъ Ивановичемъ никто-таки ничего такого не замѣчалъ?
- Никто ничего, даже и думать-то не думали.
 - Какъ же такъ?
 - Да такъ, видно, случая не было.

Больше всъхъ упрекала себя Миропія Алексъевна за свою оплошность — она и пригласила Петра Ивановича, и она же первая всъмъ и каждому его расхваливала, его скромную молчаливость и особенный, дъйствующій благопріятно на нервы, успокаивающій его голосъ!

И встр воженные глаза ее выдавали.

Не отличавшійся особо выдающимся чутьемъ и проникновіемъ, Петръ Ивановичь понять хоть и ничего не понялъ, однако забезпокоился.

И еще больше забезпокоился, когда замвтиль, что съ нъкоторыхъ поръ при его появлении какъ-то загадочно примолкали и ужъ очень усиленно справлялись о здоровьъ, и притомъ у всъхъ было въ глазахъ что-то и участливое, а вмъстъ и тревожное. И все это въ концъ концовъ приписалъ Петръ Ивановичъ угнетающимъ ночнымъ шагамъ, о которыхъ, само собой, продолжалъ изъ деликатности отмалчиваться.

"Конечно, передъ нимъ, какъ гостемъ, Ерыгинымъ было неловко, вотъ они и старались какъ-нибудь да загладить эту свою неловкость!"

Такъ соображалъ Петръ Ивановичъ.

Но соображение это мало въ чемъ при-

Онъ безпокоился, онъ, какъ и всѣ въ домѣ, ночь спалъ плохо, онъ все прислушивался, его, какъ и всѣхъ, шаги изводили, и, какъ всѣхъ, заполняла одна хватальная мысль:

подкараулить виновника, если таковой дъйствительно имъль образъ человъческій, т. е., пару ногъ, пару рукъ обязательно, и вънецъ — голову, да подкарауливъ, и поймать.

А въ то же самое время Ерыгины и съ ними Павочка положили свое твердое и неизмънное ръшеніе, ужъ во что бы то ни стало, а подкараулить... Петра Ивановича.

И въ домъ вошло что-то заговорщицкое, подозрительное, наступило какое-то осадное положение:

Что-то очень ужъ всѣ молчаливы стали, рано стали расходиться по своимъ комнатамъ и затихать какъ-то особенно, подозрительно, и хоть спать и ложились, но и безчувственный почувствовалъ бы, что

никто и не собирался спать.

Если бы только зналь П тръ Ивановичь, что все дьло въ немъ, что п дозръвають его, да ужъ не то, что подозръвають, а увърены въ хожденіи его ночномъ, — да онъ вопреки всей своей молчаливости и замиравшему, дъйствующему благопріятно на нервы, успокаивающему голосу, нашелъ бы въ себъ и вопіющій гласъ и разговорность щечилы.

Но откуда ему что знать?

И, улегшись въ постель и на минуту замечтавъ о тихомъ лътнемъ снъ, онъ вдругъ поднялся и притаился у двери.

вдругъ поднялся и притаился у двери. И въ то же самое время сосъди его, тоже безполезно провалявшись въ кроватяхъ съ отчаянной мыслью о снъ пріятномъ, поднялись къ своимъ дверямъ на караулъ —

И воть около полночи послышались шаги...

И не одно сердце упало отъ нетер-

Петръ Ивановичъ, по собственному его набюденію, раньше другихъ услышалъ шаги: онъ услышалъ ихъ еще издалека отъ окна, широкіе медвѣжьи.

И тотчасъ выскочиль въ коридоръ —

И никакое астральное, никакое твло мертвое — здоровенный парнюга, новый ерыгинскій садовникъ Григорій пробирался по коридору къ комнать экономки Они, воть кто!

И быть бы бычку на веревочкъ, ужъ готовъ былъ Петръ Ивановичъ сцапать Григорія и вдругъ, какъ вкопанный, сталъ: прямо противъ него въ такомъ же ночномъ, какъ и онъ, видъ, стояла у своей двери Павочка, раскрывъ свой алый ротикъ.

Никакихъ таинственныхъ исторій Петръ Ивановичъ за собой не зналъ, если не

считать единственнаго случая, оставшагося памятнымъ ему и черезъ много лѣтъ.

Однажды вечеромъ — это было въ Черниговъ дътомъ — Петръ Ивановичъ попалъ на ярмарку и, переходя отъ одной палатки къ другой и разсматривая всякія ярмарочныя диковинки, дошелъ до цыганъ.

У палатокъ чадили костры, видно было, ужъ готовились на ночлегъ. И онъ пожальль, что поздно: пъсенъ ему не послушать и на цыганъ не поглазъть.

И вдругъ увидълъ передъ собой цыганку, — она передъ нимъ точно изъ подъ земли выросла:

— Дай твою руку!

И такъ это неожиданно, что Петръ Ивановичъ готовъ былъ не одну, а объ руки отдать въ темную цыганскую руку.

Что-то приговаривая, чего и не поймешь никакъ, цыганка потянула его руку къ себъ — къ груди, увъщанной золотомъ, и выше, къ подбородку.

А лицо ея — лицо ея чъмъ-то жуткое, словно выточенное — и ничъмъ не возъмешь и ничъмъ не покоришь, какъ восковой, мертвый лобъ, а глаза ея непреклон-

35

ные, она глядѣла въ упоръ, не на руку—она его и руку взяла, чтобы только мучить въ своей рукѣ, довести до губъ и отпустить.

Измученный, стояль онъ...

Или такъ всю жизнь и стоять бы ему, или ужъ вырваться, затеряться въ под-выпившей ярмарочной толпъ?

— Позолоти ручку! Позолоти ручку! — настойчиво повторяла она и безусловно.

И отпускала его руку, и опять подводила къ губамъ, чуть-чуть касалась губами.

И никуда онъ не убъжалъ, а полъзъ въ карманъ за кошелькомъ.

И когда звякнуло серебро, — цыганята, цыганки, и молодыя и старыя, почуя добычу, повыскакали изъ палатокъ и, галдя и гакая, навалились на него и чьи-то кръпкія руки и теплыя обняли его сзади.

— Хочешь, я тебѣ на двѣнадцать жилъ пропляшу? Хочешь? — дула въ ухо цы-ганка.

Но онъ не видълъ ея, онъ только ту видълъ, свою, неподступную и непокоримую, свою Машу.

Вотъ единственный случай таинственный: цыганка Маша.

И теперь, когда въ домъ всякіе шаги утихли, а отъ тъхъ изводящихъ и слъда не осталось, Петръ Ивановичъ, засыпая, почему-то вспомнилъ этотъ таинственный свой случай, свою цыганку Машу, ея непреклонные глаза и она такая одна, ни на кого не похожая, Маша слилась въ его воображеніи съ Павочкой, розовенькой и курносенькой, съ милымъ знамечкомъ и алымъ ротикомъ, — и Богъ знаетъ о чемъ замечталось Петру Ивановичу.

Ему хотълось, чтобы и опять услышать полуночные шаги и опять встрътить Павочку, какъ стояла она въ коридоръ у своей двери съ раскрытымъ алымъ ротикомъ!

И только подъ утро, совсѣмъ размечтавшись, заснулъ сладко Петръ Ивановичъ, а снилась ему канитель и чепуха всякая—

снился экзаменъ по математикъ: вынимаетъ онъ изъ кучки билеты, а билеты будто все листы ветчинные.

Не ветчинные листы — билеты, свое снилось Павочкъ и такое лъньливое:

ей снился мохнатый бокъ, сфрый, свътящійся — спрячется и покажется, а ни головы, ни передка, ни заднихъ ногъ, одинь этоть бокъ, сърый, свътящійся спрячется и покажется.

И проснулась Павочка, день ужъ сталъ, а ей хотълось и еще поваляться, потя-

нуться, помечтать о чемъ-то.

И она вспомнила о Петръ Ивановичъ.

Воть интересно!

Воть и ей пришлось увидьть: лунатикъ настоящій, можеть прохаживаться по всякимъ опаснымъ мъстамъ, — по карнизамъ, и вовсе не страшно!

Воть будеть интересно! И она скоренько поднялась.

А еще съ утра, когда всѣ спали, Миропія Алексвевна творила судъ и праву.

Повинилась экономка Оня: она и сама

не знаеть, что у нея въ головъ. И садовникъ повинился Григорій: погубила его Анисья Семеновна!

Такъ все было выведено на чистую воду, — Миропія Алексфевна осталась очень довольна и всфмъ простила.

И хотя теперь все было ясно, и о таинственности не могло быть и рвчи, а стало-быть, и подозрвнія всякія о лунатическомъ хожденіи Петра Ивановича сами собой пали, — убъдить Павочку, что это такъ, а не этакъ, было невозможно.

И для Павочки навсегда остался лу-

Петръ Ивановичъ — лунатикъ!

Павловская дача къ концу лъта осиротьла.

Ерыгины увхали въ Карлсбадъ и съ ними Павочка, а Петръ Ивановичъ въ Петербургъ перевхалъ къ себв на Пушкинскую.

Петръ Ивановичь служиль въ комиссіи по реформъ обмундированія, — мъсто

благополучное, служба спокойная.

Въ подчиненіи сидъли у него всякіе писцы, а начальникомъ надъ нимъ былъ совътъ изъ генераловъ, генералы собирались не очень часто, командой не докучали.

Лътомъ бывало и совсъмъ тихо:

льтомъ, какъ извъстно, отдыхать полагается, силъ на зиму набираться — дъло не убъжитъ!

Лътомъ разъъзжались генералы кто на дачу, кто въ имъніе, кто на воды лъчиться, и одинъ оставался Петръ Ивановичъ.

Въ будній день послѣ занятій Петръ Ивановичь обѣдалъ, потомъ, отдох-

нувъ, шелъ гулять и, нагулявшись, заходилъ куда-нибудь въ кофейню и тамъ въ кофейнъ просиживалъ до глубокаго вечера.

Въ воскресенье и въ праздникъ онъ хо- дилъ по гостямъ: знакомыхъ домовъ ему

хватало на мъсяцъ.

Петра Ивановича вообще любили и за его тихость и за его дъйствующій благо-пріятно на нервы успокаивающій голосъ:

когда онъ говорилъ, онъ словно умиралъ — чего-жъ успокоительнъй! — ктокто, а помирающій ни взволновать, ни раздражить не можеть, это живой — смутьянь, пила и досада!

И внѣшность у Петра Ивановича внушала довъріе: это не какой-нибудь бритый, не поймешь, кто, — носилъ Петръ Ивановичъ бороду, а борода — кому-жъ не знать! —

— Борода есть священное украшеніе

мужчины.

Въ извъстные сроки Петръ Ивановичъ отдавался своимъ нетихимъ секретнымъ привычкамъ: вечеромъ изъ кофейной шелъ онъ не прямо по Невскому на свою Пушкинскую, а обходной доро-

гой — по Садовой, потомъ выходилъ на Вознесенскій...

И Богъ знаетъ почему вспоминалась ему всякій разъ Маша-цыганка.

И ужъ на слѣдующій день послѣ гульной ночи бываль онъ необыкновенно въ добромь духѣ, и отъ этой доброты что ли, его наполнявшей, или еще отъ чего, онъ тихонечко напѣвалъ.

Нетихія секретныя привычки были теперь отъ него далеки: онъ даже и представить себъ не могъ, какъ бы это такъ вышелъ онъ на Вознесенскій.

И Маша ему не вспоминалась.

Одна единственная была въ его мысляхъ Павочка —

Павочка не выходила изъ головы — И онъ повторяль ея имя:

-- Павочка, любилочка моя!

Подымался онъ, какъ пьяный, хотя пить и ничего не пилъ, курить — курилъ, былъ гръхъ, и курилъ больше, чъмъ всегда, но не отъ курева же пьянълъ? — отъ чувствъ, отъ любви.

- Павочка, любилочка моя!

Аяжеть, возьметь книгу на сонь грядущій, — прежде, бывало, съ книжкой какъ засыпаль онь дружно, и чѣмъ интереснѣе была книга, тѣмъ дружнѣе сонъ нагоняла, а вотъ и книга не помогаетъ, да и не до книги ему, и лежитъ ночь безъ сна съ открытыми глазами.

- Павочка, любилочка моя!

И это чувство знойнымъ голосомъ Ма-ши его томило.

Чего онъ хотълъ?

Да чтобы осень скорве, чтобы зима пришла и снвгъ, — будетъ онъ часто бывать у Ерыгиныхъ, снова увидитъ Павочку, онъ только и хочетъ видъть Павочку.

Чувство его было такъ полно, до са-

мыхъ краевъ.

И при всей своей молчаливости Петръ Ивановичъ рвался кому-нибудь открыться, ну хоть намекомъ намекнуть, хоть полусловомъ сказать, имя повторить любимое — Павочки.

А такимъ другомъ сердечнымъ и попался ему Корявка.

*

Корявка служиль въ сенатскомъ архивъ и былъ тамъ единственнымъ чиновникомъ.

И службы у него собственно никакой не было: архивныхъ дълъ не спращивали.

И только съ учрежденіемъ комиссіи одинъ изъ начальниковъ Петра Ивановича, старичокъ-генералъ, любитель отечественной исторіи, сталъ требовать старыя дъла. Правда, дъятельность эта длилась не очень долго — надоъло ли старику, или время не позволяло, но еще весной поручилъ генералъ всю подготовку дълъ Петру Ивановичу.

Съ единственнымъ Петромъ Ивановичемъ Корявка и входилъ въ дъловое общеніе: для него и дъла заготовлялъ, отъ него же и обратно ихъ принималъ въ архивъ и, скажу ужъ, частенько неприкосновенныя.

Службу свою Корявка считаль безнадежной: повышенія онь себъ не могъ
ждать — повышать и некуда было, да и

прибавки ему никакой не полагалось — окладъ разъ навсегда утвержденъ.

И, сидя за пустымъ столомъ, въ одиночку, безъ всякаго дъла и безнадежно, Корявка предавался мудрованію.

И, конечно, лучшаго собесъдника Петръ

Ивановичь и не могь найти.

*

Была та же изводящая скука, безъ которой немыслимо себъ представить прославленнаго курорта — Карловыхъ варъ.

Миропія Алексвевна, проходившая курсъ карлсбадскаго лвченія, цвлый день занята была всякими источниками, ваннами и лежаніемъ съ грязевымъ мвшкомъ, но Павочка, которой волей-неволей пришлось подчиниться общему режиму и даже ни свъть, ни заря подыматься, первое время очень пріуныла.

И ее нисколько не занимали чудесные разсказы о чудодъйственныхъ источникахъ — пьющіе цълебную воду будто бы теряли въ въсъ чуть ли не по пуду ежедневно! — и не менъе чудесная повъсть о Петръ, какъ Петръ, будучи въ Карлсбадъ, высиживалъ въ огненной шпруделевой

ваннѣ ни много, ни мало круглыя сутки, тѣмъ и лѣчился; ее не удивлялъ и старый еврей — карлсбадское чудо — вотъ уже пятнадцать лѣтъ выпивавшій этого шпруделя по шестьдесятъ стакановъ въ сутки и безъ всякаго стѣсненія; она скучала отъ пуповской музыки, симфоническихъ концертовъ и гранатныхъ магазиновъ.

Всѣ, кромѣ нея, дрожали надъ своими кружками, и въ этихъ кружкахъ было все.

Но, для Павочки, хоть и въ послъднюю недълю, а нашлось развлеченіе; появились родственники и знакомые, и притомъ такіе, какъ и Павочка, пріъхавшіе не совсъмъ для льченія, и ужъ восхищающихся оказалось столько, сколько и не мечталось.

А вѣдь для Павочки въ этомъ была своя кружка, и большаго развлеченія ей не понадобилось.

А что же Петръ Ивановичь, такъ-таки она его и забыла?

Ну, зачьмъ забывать? — ничуть.

Все-таки поклонники ея были самыми обыкновенными поклонниками, а Петръ

Ивановичъ — лунатикъ, она этого не могла забыть, она его не забыла.

Но и не вспоминала.

*

Когда Павочка была гимназисткой, она водила за собой цълую стаю...

И кто только въ нее не влюбиляся!

Да и невозможно было пройти равнодушно — одно ея личико въ такомъ нѣжномъ, тонкомъ пушку, а вздернутый носикъ такой задорный, и знамечко тутъ на
шейкѣ, и коса до колѣнъ, и такая она вся
румяная, лѣтомъ отъ солнца, зимой отъ
мороза, и такая радостная своей юной радостью и оттого, что хвостъ за нею влюбленный, и она во всѣхъ влюблена, и при
томъ на все надо такъ выхитриться, чтобы не замѣтила ни классная дама, ни начальница.

Но это не все, — помните, какъ Па-вочка умъла ходить?

Она какъ-то особенно, по своему переставляла ноги, думала: очень изящно, только совсъмъ возможно, и было изящно, только совсъмъ это изъ другого.

Когда ей пришла въ голову мысль ходить такъ особенно, такъ по-своему переступая, случилось на первыхъ порахъ несчастье — она поскользнулась передъ окнами своей симпатіи - гимназиста и упала въ лужу; еще слава Богу, что отдълалась слезами, а могло бы кончиться чѣмъ и похуже.

Теперь-то, будьте покойны, не поскользнется, а иначе и ходить не можеть, какъ только такъ, такъ переступая по-своему. И отъ этой рискованной ея походки по-

клонниковъ у нея еще прибыло.

Каждый гимназисть обязань быль дать ей свой серебряный гербъ, и съ какой радостью показывала она полную шкатулку, и, кажется, не было герба, который не считаль бы своимъ счастьевъ попасть въ Павочкину шкатулку!

Подруги Павочку любили.

Павочка и веселая, Павочка и пъвунья, Павочка и проказница — и разсмъщить и чъмъ угодно представится!

Всякій день передъ уроками собираются гимназистки въ большую залу на молитву, Павочка — съ камертономъ, она даетъ тонъ и управляетъ хоромъ:

она ударить камертономъ себъ по пальцу, поднесеть къ уху, пропоетъ тихонько: до-ля-фа! — и начинаютъ "Отче нашъ"; и опять ударитъ камертономъ себя по рукъ, поднесетъ къ уху и ужъ пропоетъ тихонько: рә-си-соль! — и хоръ поетъ "Преблагій Господи!"

Павочка управляеть и въ то же время строить самыя такія рожи и подсмвивается, смвшить хоръ — ей-то ничего, она спиной стоить къ начальниць, это хоръ у всвхъ на глазахъ! — и она знай смвшить, и тогда смвшить, когда и управлять не надо — въ концв молитвы.

Затьмъ, обернувшись къ иконъ, истово крестится и кланяется низко, а за то и считаетъ ее начальница благочестивой.

И всякое воскресенье по тому же благочестію своему Павочка ходила въ гимназическую церковь — ей было весело переглядываться и перемигиваться съ гимназистами.

А какъ пріятно видѣть столько, столько восхищенныхъ глазъ!

Павочка любила кружить и кружила.

Но трагическихъ происшествій отъ этихъ круженій никакихъ не бывало: подъ по- вздъ никто не ложился.

Съ Павочкой бывало весело, съ Павоч-кой не соскучишься, а надоъстъ — уходи, твое мъсто пустовать не будетъ.

И тебя не вспомнять...

*

Если бы только зналь Петръ Ивановичь! Но куда ему что знать, — онъ былъ полонъ самыхъ радужныхъ надеждъ.

Съ Корявкой, теперь неразлучнымъ, онъ строилъ счастливые планы, какъ женится, конечно, на Павочкѣ, и какъ наступитъ у нихъ райская семейная жизнъ.

Онъ присмотрѣлъ квартиру, и не по газетному объявленію и не черезъ контору, а по своему глазу и на свой вкусъ вмѣстѣ съ Корявкой, присмотрѣлъ очень подходящую въ новомъ достраивающемся домѣ на Каменностровскомъ: тутъ имъ будетъ и къ островамъ поближе и къ Ботаническому саду, а мостовъ ни онъ, ни Павочка не боятся, это Корявка боится.

Ну, ничего, Корявка перебоится, — и все обойдется. Притомъ же Корявка не

всякій день, а лишь по праздникамъ будетъ приходить къ нимъ на Каменностровскій объдать.

Присмотрълъ и обстановку — было бы благоразумнъй загодя теперь же все и купить, а то осенью и цъны подымутся, осенью всякому нужно, и цъна кусается, да такъ и хотълъ сдълать, но Корявка отсовътовалъ:

будто бы гдв-то на углу Симеоновской и лучшую и дешевле можно будеть купить впосльдствіи.

Этотъ Корявка!

Выбраль обручальныя кольца и заказаль себь перстень: будеть фамильнымь — на трое колоть, на четверо строгань и золотомъ наливанъ, — вотъ какой!

А Корявкъ посулилъ часы съ кукушкой — завътная мечта Корявки!

Всякій день, возвращаясь со службы, заходиль Петръ Ивановичь на Французскую набережную справиться, нътъ ли какихъ въстей?

Въ свою очередь, и Корявка ежедневно справлялся.

Въсти были самыя благопріятныя: скоро!

Частенько Петръ Ивановичъ писалъ Павочкъ письма. Но отвъта не получалъ.

Или не доходили его письма?

Безотвътность начинала смущать.

Но утышиль Корявка.

Корявка все знаеть и не такой, чтобы сказать нитунисъ.

Во-первыхъ, что сановники, что дамы, и не обязаны отвъчать, — это правило вывелъ Корявка изъ опыта великихъ людей и, должно быть, изъ собственнаго...

О сановникахъ я не знаю, что же касается дамъ — клевета. Ибо нѣтъ на свѣтѣ такого Корявки, который не получилъ бы отъ дамы и не одинъ, а дюжину самыхъ сердечныхъ отвѣтовъ.

Ну, ладно, а, во-вторыхъ, какіе же могли быть отъ Павочки отвъты, когда все было ясно!

*

Если бы только зналь Петръ Ивано-

Павочка его даже и не вспоминаетъ!

У нея столько теперь, столько всякихъ новыхъ поклонниковъ, о комъ она хоть одну минуту подумать соберется — они съ нею, близко, ихъ она видитъ, а въдъ

Петръ Ивановичъ, Богъ знаетъ гдѣ, такъ отъ нея далеко. А такъ на разстояніи она не привыкла и не можетъ, — у нея такая ужъ душа близкая.

Конечно, она его никогда отъ себя не отгонить, въ этомъ онъ можетъ быть по-коенъ.

Она не отгонить, если бы даже вдругъ оказалось, что онъ и не лунатикъ: она никого отъ себя не отгоняетъ, и самому Корявкъ нашлось бы при ней мъсто, и будь Корявка посмълъе и ръшись, да она и о Корявкъ хоть и на одну минутку, а подумала-бъ такъ.

Замужъ, конечно, ни за Корявку, ни за Петра Ивановича Павочка не пойдетъ.

За Птера Ивановича замужъ?!

Да и Миропія Алексвевна едва ли найдеть подходящимь, Миропія Алексвевна
ужь давно про себя рішила, за кого ей
Павочку выдать. И туть она не ошибается. Миропія Алексвевна племянницу
свою, какъ родную дочь, любить, у Павочки отець умерь, а мать ея въ Орлів
съ сыномь, Павочка все у тетки, Павочка
для Миропіи Алексвевны, какъ своя.

"Павочка выйдеть замужь, она будеть блестящимъ украшеніемъ семейнаго очага!"

*

А вѣдь для Петра Ивановича ... сами понимаете, какъ онъ ее любилъ! — эта любовь его къ Павочкѣ, по слову Корявки,

какъ жельзо къ магниту.

Воть онь, въ первый разъ полюбившій, — и эта любовь не та... у цыганскихъ палатокъ къ Машѣ, — тутъ его словно связало, —больше! — срастило съ нею, съ существомъ ея, и онъ нераздъленъ съ нею, какъ нераздъленъ еще не родившійся ребенокъ съ матерью, и никакой оскордъ, никакая съкира не отсъчеть его, развъ смерть?

Или и смерть туть не можеть, и съ кон-

цомъ ничего не кончится?

— Алексъй Тимоөеевичъ, ты понима-

Еще бы!

Не понять Корявкв!

Корявка по его собственнымъ тайнымъ думамъ о себъ былъ наполненъ премудрости, — какъ злата и бисеру изнасыпанъ, и разумомъ смысленъ! — Корявка могъ ста-

новиться на всякую точку зрвнія и сочувствовать всякимъ чувствамъ, и самымъ противоположнымъ.

- Вотъ вы и женитесь, Петръ Ивановичъ.
- У меня, Алексъй Тимовеевичь, такое чувство, будто всякій день Вербное воскресенье... Всякое утро я встаю съ этимъ вербнымъ чувствомъ. А вотъ закрою глаза и будто я гдъ-то въ саду: осень послъдніе цвъты ... георгины:
- Женитесь, Петръ Ивановичъ, дъ-

Корявка, пряменькій, маленькій смотрѣлъ съ восхищеніемъ.

- Назову я старшаго Александромъ, а второго Святославомъ, а третьяго...
 - Маленькіе толстенькіе такіе.
- А третья будеть у меня дочка Павочка. Я, Алексъй Тимовеевичъ, върую въ Бога. Богъ меня любитъ! Вотъ я и не думалъ о такомъ счастъъ, а Богъ и послалъ.
 - Все отъ Бога, Петръ Ивановичъ.
- Старшій, Александръ, будеть у меня богатырскаго сложенія, вотъ какой!

— Александръ Великій! — Корявка тяннуль себя за свою козью бородку, — и я, какъ Сенека, Петръ Ивановичъ, буду ему служить!

- То-есть... какъ Гераклитъ.

- Сенека, Петръ Ивановичъ, какой Гераклитъ! — всегда былъ Сенека, великій учитель. При святомъ князъ Владиморъ — Несторъ Лътеписецъ, при Петръ Великомъ — Арапъ Петра Великаго, при Александръ Македонскомъ Сенека находился.
- Будеть онь у меня министромъ, съ докладомъ будеть вздить къ государю, а я такъ около съ палочкой. Скажетъ онъ: папа!
- Маленькіе такіе, толстенькіе... Я дъточекъ очень люблю, Петръ Ивановичъ.
- Нътъ, Петръ Ивановичъ, скажу вамъ, какъ передъ Богомъ, я жениться не думаю. Я такъ какъ-нибудь ужъ. Вы, Петръ Ивановичъ, человъкъ сложный, вамъ все можно.

Корявка не хочеть жениться! Удивительное дъло!

И какъ такъ можно не хотъть жениться, когда воть онь, Петръ Ивановичь, только и думаетъ объ этомъ, только этого и ждетъ, только и видитъ себя...

— Нѣтъ, Алексѣй Тимооеевичъ, ты — ненормальный человѣкъ, тебя надо лѣчить,

BOTD 4TO!

Корявка хихикалъ.

Корявка все понимаетъ.

Корявка соглашался.

Корявка понималь, что оть любви дурного ничего не можеть выйти, и совъть Петра Ивановича благой, и онъ готовъ итти къ доктору лъчиться.

Петръ Ивановичъ обалдъвалъ.

Корявка поддавался.

Корявкъ тоже помечтать хотълось — служба въдь назначена ему была безнадежная, а жизнь, какъ служба.

И оба они дурачились.

— Ты меня, Алексъй Тимооеевичъ, называй не Петръ Ивановичъ, а Балда Балдовичъ, а я тебя Сенекой.

Пряменькій, маленькій Корявка важ-

ничалъ:

- Балда Балдовичъ!
- Сенека!

И ужъ не Петръ Ивановичъ Галузинъ, — Балда Балдовичъ, и не Корявка, а Сенека плутали по Петербургу.

И не поймешь со стороны, чего это ихъ разбираетъ, — ну, одинъ отъ любви, а

другому что?

Странные вы, да въдь и Корявкъ, хоть онъ и все понималъ, ему тоже хотълось любви.

*

И вотъ, изъ любви вышедшіе на свътъ, зашатались по Петербургу Балда Балдовичь и Сенека.

Любовь все сотворить, чего сердце захочеть.

И однажды Корявка затащиль Петра Ивановича на Лиговку къ какимъ-то своимъ знакомымъ Грудинкинымъ и тамъ Петръ Ивановичъ, не Петръ Ивановичъ, Балда Балдовичъ, себъ невъря, вдругъ заговорилъ громко и лихо танцовалъ и былъ глагольливъ, что вергаса, а Корявка, не Корявка, Сенека, къ ужасу своему и противъ всякой воли, пълъ пъсни, и выходило ничего.

По утрамъ за чаемъ, читая газету, Петръ Инавовичъ безполезно добивал-

ся, а понять все-таки никакъ не могъ, какъ это возможно, чтобы кто-то кого-то убилъ или кто-то решился на самоубійство. И было ему непонятно, что люди ссорились и бранились, онъ больше не находилъ въ себе другого чувства, кроме одного, — кроме любви.

И когда въ архивной комнатенкъ онъ жаловался Корявкъ, что ничего не понимаетъ и потерялъ нить событіямъ жизни, Корявка, и самъ понемножку терявшій всякія нити, говорилъ восхищенно, съ восхищеніемъ глядя на обалдъвшаго друга:

— Петръ Ивановичъ, — говорилъ въ восхищениемъ Корявка, — да вѣдъ вы . . . несѣкомая пуповина мірозданія! Петръ Ивановичъ! Я для васъ такое сдѣлаю, — во всѣхъ газетахъ напишутъ.

Всякому человъку надо, чтобы кто-ни-будь имъ восхищался.

И эта страсть восхитительная есть въ каждомъ.

А есть и другая...

Есть такіе, которымь надо, и не могуть они не восхищаться: восхищеніе — это ихъ жизнь, это главное, безъ чего и жить не стоитъ.

Посмотрите въ театрахъ, въ собраніяхъ, въ аудиторіяхъ, сколько увидите этихъ восхищенныхъ глазъ, по призванію восхищенныхъ, а всѣ эти мироносицы съ своимъ горящимъ неусталымъ огонькомъ, какъ часто оскорбленныя и униженныя, но преданныя до гроба своему идолу.

Будь Корявка женщиной, записали бы его въ мироносицы.

Я уже поминаль о его непонятномь за мной хожденіи и даже нехорошо обмолвился: подлець, — сказаль я, — Корявка! — и это съ сердца, поймите, въдь у меня съ нимъ свои счеты, и я по-

лагаю, что надувательство его, ей-Богу, такого стоитъ.

Но скажу правду, случись мить подъ клятвой свидътельствовать объ Алексъть Тимовеевичть, я бы дурного сказать ничего не нашелъ:

Алексъй Тимовеевичъ, пока восхищение наполняло его сердце, бывалъ преданъ и въренъ, и можно было въ чемъ угодно на него положиться, не выдастъ . . . другъ върный.

Корявка — человъкъ недобычный, и служба его безнадежна.

И во всемъ въ немъ что-то безнадежное: вотъ и пряменькій онъ, а сюртукъ — воротъ сзади вѣчно угломъ торчитъ безнадежно. А съ безнадежностью что-то и жалкое тутъ вотъ въ этомъ углу, гдѣ сходятся глазные лучи и носъ и губы.

Когда подъ вечеръ стоищь на людномъ перекресткъ гдъ-нибудь у Литейнаго на Невскомъ и ждешь трамвая, Корявка переходитъ улицу, — и хоть пряменькій и все на немъ прилично и аккуратно, но и до жалости ветхо... зимняя эта шапка его барашковая — коломъ, я помню, еще

когда говориль онь мнь, что двадцать льть носить! — Корявка домой пробирается на свою Рождественскую, тамь у него и комната, — квартиру держать Корявкь не по средствамь. И мнь всегда какь-то жалко и какь-то стыдно, что воть у тебя и галстукь, какь галстукь, и ни вы одной полоскь до-была не вытерть, и ты какь-никакь, а въ лучшихъ условіяхь, ну, хоть вечеромъ самоваръ у тебя поеть, и лампадка тамь тихо свытится, ты въ своемъ углу, а онь—въ полупроходной комнатенкь, и вычные за стыною гости и разговоры и пъсни.

Я знаю, жалостью моей ничего не поправишь и никому отъ нея не станеть легче, я знаю, я знаю — и не могу помириться, и мнъ всегда какъ-то стыдно... и такъ мнъ понятно, какъ это можно добровольно ото всего отказаться и добровольно себъ пріютъ найти на свалкъ, а послъдній пріютъ — подъ заборомъ.

Сюртукъ у Корявки не какой-нибудь, а на шелковой подкладкъ, подкладка — ба-хрома, Корявка подръзалъ и подшивалъ

ее, и выходило ничего: сюртукъ, какъ новенькій; правда, поменьше бы глянца, но за то и времени ему, чуть что не ровесникъ шапкъ.

А скажу вамъ, хорошо пріодъться, даже пофрантить Корявка куда былъ не прочь, и, разсматривая въ "Нивъ" картинки, подолгу останавливался на тъхъ, гдъ было много туалетовъ. И тутъ надъ картинками приходили ему всякія нарядныя мечты: то въ шикарнаго адвоката, то въ англійскаго лорда превращался Корявка.

И первое его восхищеніе Петромъ Ивановичемъ пошло именно отъ жилетки: жилетка Петра Ивановича показалась ему тогда ни съ чѣмъ не сравнимой и, тонко надушенная лѣсной фіалкой, закружила голову.

По субботамъ Корявка ходилъ въ баню. И это былъ самый праздничный вечеръ — суббота.

Въ этотъ вечеръ и къ его сердцу приливала страсть восхитительная: ему тоже хотьлось, чтобы кто-нибудь посмотрълъ на него, — на него, на чистенькаго, такъ, какъ самъ онъ умълъ смотръть. И неръдко, за неимъніемъ двойника своего, самъ онъ изъ ничего и выдумывалъ себъ этотъ взглядъ восхитительный.

Есть въ жизни каждаго русскаго человъка одинъ день такой въ году — именины, когда полагается и даже противъ воли твоей, чтобы тобой повосхищались.

И съ какимъ особеннымъ чувствомъ ждалъ Корявка своихъ именинъ.

Но это ли не безнадежная жизнь!— какъ на гръхъ, и всегда-то поджидала его неудача.

Еще съ дътства, съ тъхъ еще незабываемыхъ върныхъ дней пошло такъ, что именины не въ именины: слякоть, дождикъ, — какія же это именины!

Корявку погода очень обижала.

А потомъ, когда ужъ и незабываемое забылось, и не трогала никакая слякоть, все-то до послъдней грязиночки прибереть, бывало, въ своей комнатъ, накупитъ сластей всякихъ, наготовитъ подносъ — не подымещь, а никто и не пожалуетъ. И просидитъ такъ одинъ весь вечеръ, по часточкамъ, не спъща, одинъ самъ всъ апельсины съъстъ. А то и придетъ какой

Грудинкинъ, наскандальничаетъ, и тоже нехорошо.

Именины — единственный день въ году, это не будни, и имениникъ совсъмъ особый отъ другихъ, самъ по себъ.

И это должно быть всякому видно.

Но Корявка, покоряясь судьбѣ, самъ ничего такого не выдѣлывалъ, никакого безобразія для отлики имениннаго дня: онъ не напивался, какъ норовитъ другой на свои именины хоть напиться, или какъ этотъ Грудинкинъ, письмоводитель, этотъ такое придумалъ, ну, вмѣсто того, чтобы тамъ, гдѣ слѣдуетъ — пройти въ нужное мѣсто — въ день своего ангела никуда не выходилъ, а все это въ комнатахъ жилыхъ дѣлалъ, нарочно.

Нъть, Корявка единственно что позволяль себъ въ свои именины, такъ это поспать подольше и явиться на службу съ запозданіемъ и такъ постараться пройти, чтобы обратить на себя вниманіе: пускай всъ догадаются, какой-такой день у него, и поздравять!

Увы, къ огорченію именинника, догадываться - то догадывались, да только съ большимъ запозданіемъ! Посль объда Корявка ложился отдохнуть и долго разсматривалъ картинки и за картинками нарядно мечталъ.

Нынче всь мечты и думы Корявки были

о Петръ Ивановичъ.

*

Ни съ чъмъ несообразная, выдуманная женитьба Петра Ивановича на Павочкъ — всъ лътніе ихъ планы и предположенія потерпъли полную неудачу.

И дъло приняло совсъмъ другой

обороть.

Ерыгины вернулись въ Петербургъ на Воздвиженье.

Петръ Ивановичъ не замедлилъ, зачастилъ на Французскую набережную.

Но послѣ каждаго своего свиданія съ Павочкой возвращался къ себѣ на Пушкинскую, повѣся носъ.

Павочка встрѣчала его всегда радушно, — еще бы, и лунатикъ, и никто такъ не смотрѣлъ на нее, такъ восторженно, какъ Петръ Ивановичъ!

Когда же пробоваль Петръ Ивановичь заговаривать съ нею о самомъ своемъ завътномъ, — о той тихой райской семейной жизни на Каменноостровскомъ въ

новомъ, теперь уже отдъланномъ домъ, Павочка или ровно ничего не понимала, или представлялась, что не понимаетъ:

она удивленно смотрѣла на него, рас-крывъ свой алый ротикъ, или отдѣлывалась

пустяками, или просто смѣялась.

И въ этомъ смѣхѣ, въ болтовнѣ и взглядѣ Петръ Ивановичъ чувствовалъ что-то оскорбительное — вѣдь такъ далеко ушелъ онъ съ Корявкой въ мечтахъ, а и тѣни подобія не было.

Но откуда онъ взяль, что Павочка выйдеть за него замужь?

Ниоткуда...

Только оскорбительно и больно ему было отъ ея взгляда, болтовни и смѣха.

Товарищи Миши постоянно толклись у

Ерыгиныхъ.

И оскорбительно и больно было видъть Петру Ивановичу, что Павочка держалась съ ними такъ же, какъ съ нимъ, относилась къ нему такъ же, какъ и къ нимъ.

Но въдь такъ и всегда было.

Не замъчалъ — —

Не замвчаль?

— Нѣтъ, все замѣчалъ, да мечты-то тогда не были такъ далеки!

И все-таки, какъ ни оскорбительно и какъ ни больно это, а выносимо.

*

Съ нъкоторыхъ поръ Петръ Ивановичъ совсъмъ пришелъ въ уныніе:

съ нъкоторыхъ поръ въ разговорахъ неизмънно сталъ поминаться какой-то докторъ, и при этомъ какія-то таинственныя перемигиванія съ Веточкой.

Кто же этоть таинственный докторь?

Ужъ не женихъ ли?

Сколько Петръ Ивановичъ ни разспрашивалъ и всякими намеками наводилъ, лишь бы дознаться правды, а добиться ничего не могъ.

Павочка по пятницамъ вздила къ доктору на пріемъ, но никакого доктора, кромв старичка Александра Львовича, Петръ Ивановичъ у Ерыгиныхъ не встрвчалъ.

И гдв живеть этоть докторь, женихь? Петръ Ивановичь открылся во всемъ

Корявкъ.

И Корявка взялся устроить дѣло: Корявка прослѣдить квартиру доктора, пойдеть къ доктору на пріемъ и убѣдится

собственными глазами, такъ это или не такъ.

Объ этомъ дѣлѣ своемъ секретномъ Корявка и думалъ, перелистывая нарядныя картинки.

Угодить Петру Ивановичу, помочь другу было для него выше и самой нарядной

имениной мечты:

онъ ужъ согласенъ навсегда остаться Корявкой, тъмъ самымъ пряменькимъ и жалкимъ Корявкой, какимъ мы его всъ знаемъ, лишь бы Петръ Ивановичъ снова по-лътнему ожилъ.

А куда ожить!

×

Петръ Ивановичъ, и совсъмъ незамътно, все ближе подходилъ къ самой настоящей правдъ. И эта правда убивала его, — онъ ужъ чувствовалъ свою ненужность.

Онъ вдругъ почувствовалъ всѣмъ существомъ своимъ, что никому не нуженъ,

А потому не нуженъ, что ей не нуженъ.

А раньше?

Раньше не то... раньше онъ былъ нуженъ...

Какъ, развъ она измънилась къ нему? Нисколько.

Въ чемъ же дъло?

А воть въ мечть его, въ мечтахъ его — въдь мечты его были такъ далеки! — а на самомъ-то дълъ ничего такого не было, и все оставалось неизмънно.

Петръ Ивановичъ теперь и самъ понималъ, что Павочка къ нему нисколько не измѣнилась, что отношеніе ея къ нему такое же, какое было тамъ, на дачѣ, и что нуженъ онъ ей ничуть не больше и не меньше.

А чувствоваль еще большую свою не-нужность.

Онъ ужъ дня не могъ прожить, чтобы не увидъть Павочки, а всякое свиданіе оставляло въ его сердцъ одну боль.

Павочка танцовала, ей было пріятно, и онъ хотълъ бы радоваться съ нею, но она танцовала съ другими, и ему было больно.

И когда въ разговорахъ Павочка когонибудь хвалила, ему было больно.

Ему было больно отъ всякаго ея взгляда, отъ всякаго ея двиотъ всякаго ея слова, отъ всякаго ея движенія, если ея взглядъ, ея слова, ея движеніе относились не къ нему, а къ другимъ.

И чемъ дальше, темъ больней, и чемъ

дальше, тымь неутолимый боль.

И онъ неизмѣнно уносилъ эту боль.

И лишь въ рѣдкіе дни, когда у Ерыгиныхъ никого не было, и Павочка занималась только съ нимъ, онъ на время забывался, но и тутъ что-нибудь мѣшало: или перемигиванія съ Веточкой о докторѣ, или Павочка начнетъ вспоминать какихънибудь своихъ поклонниковъ, да мало ли что — мелочи, о которыхъ часто не легко додуматься и при самомъ подозрительномъ желаніи.

Петръ Ивановичъ никогда не ходилъ по ресторанамъ, — теперь при всякомъ удобномъ случаѣ тащилъ съ собой Корявку.

Пить онъ хоть и не пилъ, но кабацкая обстановка дъйствовала, онъ выбиралъ рестораны съ музыкой и всякіе самар-канды.

— Знаешь, Алексъй Тимооеевичъ, хотью бы Машу встрътить. И такъ просто посидъть съ нею, поплакать. Жизнь моя загублена!

- Что вы, Петръ Ивановичъ, надо душой перебольть, надо горести принять — и тогда желаніе получите. Это всегда такъ. А почему такъ, и почему надо — неисповъдимо.
- Да у меня свъту нъту, понимаешь? И не виноватъ я передъ нею.
- Жизнь, Петръ Ивановичъ, жестокая, а иго ея нелегкое. И если ужъ ръшать по-человъческому и ключа не найти, Корявка тянулъ себя за свою козью бородку, а можетъ, и совсъмъ не жестокая, и не такъ это мы, Петръ Ивановичъ. Небесныхъ словъ не знаемъ, и все не такъ выходитъ.
 - И она не виновата.
 - Неисповъдимо, Петръ Ивановичъ.

Корявка могь смыслить всякое дѣло и дать смыслень отвѣть, но и мудрованія Корявкины не успокаивали Петра Ивановича.

Не успокоило его и открытіе о таин-

Докторъ, къ которому по пятницамъ вздила Павочка, дъйствительно, по отзыву Корявки, оказался какимъ-то необыкно-веннымъ:

и красивъ, и ловокъ, да и брови безъ перерыва, словно углемъ намазаны, — это ли не красота? — и самъ поспъшный на все и живой необычайно, — лъчитъ по косметической части, сбавляетъ въсъ и выводитъ усики, пріемная ломится отъ дамъ, но жениться, какъ кажется, не собирается, притомъ же онъ семейный.

Эту тайну раскрыль Корявка.

-- Семья въ Москвъ.

Чего же еще? Дъло ясное — выводить усики! И безпокоиться за Павочку туть совсъмъ не годится: съ усиками Павочка или безъ усиковъ — все Павочка!

Да за это и не безпокоился Петръ Ивановичъ, а только ему и покоя-то нигдъ не было.

Видно, боль прошла глубоко, и воть въ душъ столкнулся онъ съ настоящею правдой.

Онъ не только не думалъ, какъ лѣтомъ, какъ еще недавно, о женитьбѣ, куда тамъ думать! — какъ теперь далекъ онъ былъ

оть своей мечты, и поняль вдругь, что все-то онь мечталь, — и однъ мечты!

И это поняль онь сейчась, когда Корявка, довольный своими розысками, выкладываль съ мельчайшими подробностями самыя неожиданныя свои заключенія и обнадеживаль Петра Ивановича въ счастливой судьбъ.

Не того хотьль Петрь Ивановичь.

Правда побъдила его мечту. Онъ приняль эту правду.

И ему хотълось разъ и навсегда высказаться, вывернуть передъ ней всю свою душу.

"Онъ одинъ — онъ это знаетъ! — онъ одинъ, который ее такъ любитъ, какъ никто не будетъ такъ любитъ, любитъ безъ всякой надежды, любитъ всѣмъ существомъ и готовъ для нея ее не видѣть, не встрѣчаться, онъ только ждать будетъ, чтобы увидѣть... будетъ самый тихій, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вѣчно покорный ея рабъ!"

*

Послѣ морозовъ наступила оттепель. А за оттепелью дохнулъ вѣтеръ.

Гдъ-то тамъ зародившись межъ Исландіей и Англіей на океанъ, черезъ море, черезъ скалы прилетълъ вътеръ.

Вътеръ, вихрясь, леталъ по улицамъ и, шалуя, набрасывался изъ переулковъ на прохожихъ, и шалый, несмътный и жестокій вотъ разгулялся!

Вътеръ гулялъ по Петербургу.

И творилось Богъ знаетъ что.

Къ ночи собралъ вътеръ всю свою силу — къ ночи завихорилъ вътеръ въ гульбъ —

Или это ангель, водящій облаки, духь-вьтерь пустиль съ небесныхь улиць всю вътрову силу?

вътеры вътрило —

Вътеръ несмътный, мало ему улицъ, — дай, дай простору!

И рветь жельзо съ крышь и трубъ,

рветь швыркомъ.

Вѣтеръ грозилъ, свистълъ.

Свисть его — свисть змѣи, въ сердцѣ огонь, — клятвами не заклясть, искупа не дать, — и нѣтъ поруки.

Ему мало, ему тъсно — дай, дай про-

стору!

Не чужой, знаеть, при Петръ, ой, какъ гуляль — было въ Санктпитирбурхъ посвободнъй, а теперь въ Петербургъ ему тъсно...

вътеръ! вътрило —

Вътеръ врывался въ дома, свистълъ въ окнахъ, свистомъ наполнялъ весь домъ.

Или высвистываль, выманиваль на волю погулять съ нимъ по волѣ?

Ничего не страшно, и, сколько хочешь, пали изъ пушекъ, не угоняться!

Ему не страшно!

Вътеръ свистълъ, выговаривалъ, — ръчи его странны, намъ незнаемы, — выговаривалъ, стучалъ желъзомъ, звонилъ въ колокола.

Собиралъ ли колокольнымъ звономъ свою силу въ свальный бой, или насъ погулять выкликалъ — въ ночи на воль? Звонилъ въ колокола, тушилъ фонари, дергалъ за телеграфный столбъ.

Въ его сердцъ горъль огонь —

вътеръ! вътрило —

Вътеръ, вставъ головой до звъздъ, зазвъздный, вътеръ пустился отъ Знаменья черезъ Аничковъ мостъ —

А кони его, — голуби, а въ гривахъ перегудають звонцы, и бълымъ огнемъ по пути жигалъ — и! — и — и!

вътеръ! вътрило, — поми! — и — луй!

На Невъ вода подымалась.

Есть, по Корявкв, три естества у воды: первое — мы по ней плаваемъ, второе — мы ею моемся, третье — мы ее пьемъ; а есть и четвертое — насъ она топитъ.

На Невъ вода подымалась.

И до какихъ краевъ дойдетъ, никто не зналъ, да и сама Нева не знала.

Ужь ограда черньла близко. Къ оградь вода подымалась —

*

На Французской набережной изъ оконъ отъ Ерыгиныхъ все было видно.

Не тревога, вольница стояла въ домъ.

Миропія Алексвевна наканунв увхала въ Москву, оставалась одна молодежь. Были гости.

И вътеръ, какъ свой, выкликалъ изъ залы. Или это, вольный, въ залу пустить

просился...

Петръ Ивановичъ, рѣшившійся въ послѣдній разъ все высказать Павочкѣ и клятву положившій на свою душу до смерти не видѣться, не могъ найти и минуты побыть съ нею наединѣ.

И была попрежнему боль отъ ея словъ, отъ ея смѣха, отъ ея взгляда, отъ ея движеній.

И боль подымалась въ его сердцв, какъ вода на Невв.

И вотъ дошла, должно быть, до той самой гранитной ограды — и съкнуло сердце.

Петръ Ивановичъ вдругъ перемѣнился и, тихій, пошелъ ходить по залу странно, словно танцуя.

Было весело и шумно.

До Петра Ивановича никому не было дъла. Но Павочка его замътила —

Какъ странно, словно танцуя, ходилъ онъ по залу!

— Петръ Ивановичъ — лунатикъ, — сказала Павочка, — Петръ Ивановичъ что угодно можетъ сдълать. Петръ Ивановичъ, — позвала она, — подойдите, я вамъ что скажу!

Петръ Ивановичъ покорно подощелъ.

Петръ Ивановичъ — лунатикъ, Павочка — луна!

— Петръ Ивановичь сейчасъ такое сдъ-

лаеть, этого никто не можеть!

Павочка кричала и прыгала отъ удо-вольствія.

— А что такое, что онъ сдълаеть?

— А воть увидимъ.

Павочка тянула его къ балкону.

Надо растворить балконъ и посмотръть, что тамъ дълается.

У! Какъ засвистить вътеръ —

вътеръ! вътрило —

Кто-то погасиль электричество.

И на минуту въ залѣ пробѣжалъ холодокъ.

И на минуту подумалось:

"можеть, ничего и не надо затъвать, вернется Миропія Алексъевна, узнаеть, разсердится, или Веточка простудится!"

Въ темнотъ не растворялись двери: двери были замазаны кръпко.

Зажгли электричество. И двери наконецъ

поддались.

И съ трескомъ распахнулась дверь.

Вътерь изъ всей своей силы дохнулъ въ залу —

вътеръ! вътрило —

Не было силъ устоять на волъ.

Вътеръ гналъ въ комнаты.

И одной минуты нельзя было пробыть на балконв.

— Петръ Ивановичь! — кричала Па-

вочка и указывала ему на балконъ.

И ея голосъ казался Ивану Александровичу сильнъе и кръпче самого вътра.

вътеръ! вътрило!

Петръ Ивановичъ покорно шелъ къ балкону —

Петръ Ивановичъ лунатикъ, Павочка

— луна!

Неопасливо шелъ, такъ и всюду пойдеть, куда ему скажуть, — куда ему она скажетъ. Если бы только зналъ Корявка: Корявка превратился бы въ Сенеку и остереть, отговорилъ бы своего друга, но Корявка, пригръвшись подъ своей лысой еноткой, подъ свистъ вътра похрапывалъмирно.

Петръ Ивановичъ — лунатикъ, Павочка

— луна!

Петръ Ивановичъ все можетъ, вотъ онъ можетъ пройти по карнизу, и подъ любымъ вътромъ пройти по карнизу ему ничего не станетъ.

И двери за нимъ затворились.

На балконъ въ вътръ онъ остался одинъ.

вътеръ! вътрило —

Павочка бросилась къ окну.

И черезъ минуту ей въ окнѣ показалось лицо:

Петръ Ивановичъ шелъ по карнизу и вотъ дошелъ до окна и сталъ —

Изъ черной вътренной ночи глядъло лицо.

Въ залѣ примолкло —

Лишь вътеръ струйкой бъжалъ черезъ балконную щель и свистълъ.

А въ окнъ все стояло лицо.

И, какъ углемъ, обведены были ночью глаза.

"Онъ одинъ — онъ это знаетъ! — онъ одинъ, который ее такъ любитъ, какъ никто не будетъ такъ любитъ, любитъ безъ всякой надежды, любитъ всъмъ существомъ, и готовъ для нея ее не видътъ, не встръчаться, онъ только ждатъ будетъ, чтобы увидътъ... и будетъ самый тихій, тише воды, и самый смирный, ниже травы, въчно покорный ея рабъ!"

Павочка закрылась рукой. И въ окнъ —

вътеръ! вътрило —

Тамъ, за рамой, больше нътъ никого, а глядить одна выюжная ночь.

Бѣдный Петръ Ивановичъ, конечно, гдѣ тутъ удержаться подъ такимъ вѣтромъ на такомъ узенькомъ карнизѣ!

Бѣдный Корявка, какъ-то проснется, какъ-то узнаетъ, на кого будетъ восхищаться, гдѣ теперь его Балда Балдовичъ — Петръ Ивановичъ Галузинъ?

Снились Корявкѣ черти, по набережной будто скачутъ черти, какъ палочки черныя, скачутъ черти, а вмѣсто головы полшапки, и чертовка съ чертями ходитъ, маленькая, немолодая, и самъ главный Зебеусъ, бѣсъ бѣлый, глаза бѣлые...

- Мы тебя, Корявка, любить будемъ! — говорять черти.
 - Полно, отпустите!
- Нътъ, не отпустимъ, не можемъ. Мы тебя любить будемъ!
 - Петръ Ивановичъ!

И въ послъдній разъ вътеръ, взвинтивъ надъ Петербургомъ, улетълъ съ своей силой въ мъста непроходныя:

тамъ, на Печорѣ, вкругъ Желѣзныхъ воротъ, погулять ему.

*

Съ вихремъ не нашимъ надъ нашей землей летълъ Петръ Ивановичъ, не Петръ Ивановичъ, не Петръ Ивановичъ Галузинъ, душа человъчья.

Третьи ужъ сутки, какъ сорвался съ карниза, и летълъ и летълъ... не вверхъ, не внизъ, не налъво, не направо, а такъ, какъ летаетъ душа человъчья.

И видьль Петрь Ивановичь, — душа человъчья, — безъ перерыву и Россію, всв концы ея видъль, и въ то же время свою Пушкинскую квартиру съ малиновой наклейкой на парадной двери о сдачь, и въ то же время у стола надъ зеркальцемъ Корявку — Корявка трудился надъ воей бороденкой, маленькими ножничками подстригаль ее чисто, какъ бритвой: завтра въ баню, завтра суббота! -- и въ то же время старичка генерала надъ архивнымъ дѣломъ — это дѣло Петръ Ивановичъ съ недълю какъ взяль оть Корявки для генерала. И видъль то, чего никогда не видълъ, только хотьлось увидьть — подъвзжали министры съ докладомъ и какъ все было не такъ, какъ онъ думалъ! — и себя увидълъ да гдв же это онъ, Господи?

Вънчикъ на лбу съ тремя крестами: Святый Боже, Святый Кръпкій, Святый Безсмертный, помилуй насъ!

И Павочку увидълъ, она у окна стояла, раскрывъ свой алый ротикъ . . . близко, а не коснешься.

И смотрить и не видить.

И не сказать и не окликнуть.

И онъ въ тоскахъ заметался.

Откуда ему свъть засвътить, или откуда ему заря возсіяеть?

А мимо по стезямъ и дорогамъ другіе проходили, претерпъвшіе въ жизни —

Въ скорбяхъ.

Въ бъдахъ.

Въ теснотахъ.

Въ ранахъ.

Въ темницахъ.

Въ нестроеніяхъ.

Въ трудахъ.

Въ бдъніяхъ.

Въ очищеніяхъ.

Въ разумъ.

Въ долготерпвніи.

Въ благости.

Въ Духѣ Свять.

Въ любви нелицемърной.

Въ словахъ истины.

Въ силь Божіей —

По стезямъ и дорогамъ къ Звъздъ Пресвътлой.

И маленькія дівочки въ синихъ платьицахъ, сплетаясь ручками, другъ за дружкой гуськомъ шли навстрічу отъ Звізды Пресвітлой.

Откуда ему свъть засвътить, или откуда ему заря возсіяеть?

Петръ Ивановичъ съ болью рванулся

оть окна — оторваться не можеть.

Онъ ей завъченъ?

Завъченъ, — на весь въкъ.

И смерть не отсѣкла?

Смерть никогда не отсъкаетъ.

. Онъ рванулся и понялъ —

Онъ понялъ, что такъ все и нужно, и то, что было, и то, что есть, и то, что будетъ —

И тарабаниться нечего.

И повисъ...

Тамъ, гдъ мучатся души въ тоскъ.

"Онъ одинъ — онъ это знаетъ! — онъ одинъ, который ее такъ любитъ, какъ ни-кто не будетъ такъ любить, любитъ безъ всякой надежды, любитъ всъмъ суще-

ствомъ и готовъ для нея ее не видѣть, не встрѣчаться, онъ только ждать будетъ, чтобы увидѣть . . . и будетъ самый тихій, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вѣчно покорный ея рабъ!"

1914-1922.